

A vibrant, cinematic illustration. In the upper half, a red passenger airplane with a white stylized logo on its tail is flying towards the right against a bright blue sky filled with fluffy white clouds. Below the plane, a valley unfolds, showing a town with various buildings and green fields. In the foreground, a hiker wearing a red jacket, a backpack, and a hat sits on a large log, looking out over the valley. The overall scene is bathed in warm, golden light, suggesting late afternoon or early morning.

Максим Козлов

Чистилице

Максим Козлов

Чистилище

<https://litres.ru/74130009>

SelfPub; 2026

Аннотация

Рейс 271. 189 пассажиров на борту. Один выживший.

Алексей Романов поменял билет за два часа до вылета — пересел в хвост, чтобы вытянуть больную ногу. Его жена, пятилетняя дочь и мать остались в крыле. Когда самолёт упал, хвост оторвался и спланировал на холм. Алексей очнулся среди обломков. Остальные 188 человек погибли.

Почему выжил он? Случайность? Судьба? Ошибка системы? Родственники погибших пишут ему письма с одним вопросом: «Почему ты, а не мой сын, моя дочь, моя мать?» Он не знает ответа.

«Чистилище» — это роман о вине выжившего, о праве на счастье после потери, о невозможности убежать от прошлого и о прощении, которое даётся труднее всего. Это история о том, что жизнь продолжается, даже когда кажется, что она кончена. История, в которой нет злодеев, все правы, все неправы, и эта невыносимая правда — единственное, что остаётся.

Содержание

Хвост	4
Исповедь	19
Трещины	37
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Чистилище

Хвост

Он помнил звук. Не удар, не взрыв — их он не слышал, потому что оглох на несколько минут, а может, и часов. Он помнил звук, который возник сразу после, когда мир перестал быть прежним. Это был треск. Так трещит толстый лед на реке в марте, когда весна уже пришла, а лед еще не хочет уходить. Глухо, глубоко, внутри самой земли.

Он помнил запах. Керосин. Горелый пластик. И что-то еще, сладкое и тошнотворное — так пахнет мясо, забытое на сковороде. Этот запах потом преследовал его годами. Он просыпался среди ночи в холодном поту, и ему казалось, что подушка пахнет горелым.

Он помнил тишину. Она наступила после треска. Абсолютная, ватная тишина, в которой не было места ни крикам, ни стонам, ни шуму ветра. Тишина, которая была страшнее любого звука. Потому что в этой тишине он понял: всё.

Его звали Алексей Романов. Тридцать четыре года. Инженер-строитель. Он летел из Новосибирска в Москву с женой, пятилетней дочерью и матерью. Он купил билеты за месяц. Четыре места в крыле, ряд двенадцать, иллюминаторы. Он всегда брал места в крыле, потому что мать боялась турбулентности, а в крыле трясет меньше. Он помнил, как мать

говорила: «Леша, купи на крыло, у меня сердце слабое». И он покупал. Всегда покупал.

За два часа до вылета он зашел в личный кабинет авиакомпании. Просто так. Проверить регистрацию. И увидел, что место 37А, в самом хвосте, свободно. Хвост — это дополнительное пространство для ног. У него болела правая коленка после старой травмы, и в хвосте он мог бы вытянуть ногу. Он подумал: «Пересяду. Четыре часа полета, коленка скажет спасибо». Он нажал кнопку «сменить место». Система пикнула. Место 12С поменялось на 37А.

Жена сказала: «Ты нас бросаешь?». Он поцеловал ее в висок: «Я буду в двадцати метрах от вас. Просто ногу вытяну». Дочь спросила: «Папа, а почему ты уходишь?». Он ответил: «Я не ухожу, мышонок. Я буду сзади. Там, где хвостик у самолетика». Мать промолчала. Она всегда молчала, когда волновалась. Только перекрестила его мелко, быстро, как делала всегда перед вылетом.

Они сели в самолет. Он проводил их до двенадцатого ряда, усадил дочь у иллюминатора, поправил ремень на жене, проверил, застегнута ли у матери пряжка. Жена сказала: «Иди уже, хвостатый». Она улыбалась. У нее была очень красивая улыбка, с ямочками на щеках. Дочь засмеялась: «Папа-хвостатый!». Мать перекрестила его еще раз. Он пошел в хвост. Шел, держась за спинки кресел, потому что бортпроводница уже просила пристегнуться.

Он сел на 37А. Вытянул правую ногу. Рядом никого не

было. Слева сидел мужчина в сером костюме, который сразу надел наушники и закрыл глаза. Сзади — пожилая пара, они держались за руки. Он подумал: «Хорошо. Выплюсь».

Самолет начал разбег. Он любил этот момент — когда двигатели ревут, и тебя вжимает в кресло, и кажется, что ты вот-вот оторвешься от земли и станешь свободным. Он закрыл глаза. Он представил, как они прилетят в Москву, как возьмут такси, как дочь будет прижиматься носом к стеклу и считать фонари. Он не знал, что через семь минут всё кончится.

Звук появился не сразу. Сначала была тряска. Турбулентность, подумал он. Сильная турбулентность. Самолет затрясло так, что зазвенели подносы на тележке бортпроводников. Мужчина в сером костюме открыл глаза. Пожилая пара перестала держаться за руки и схватилась за подлокотники. Кто-то вскрикнул. Ребенок заплакал. Он не испугался. Турбулентность, бывает. Он летал много раз, он знал, что самолеты строят так, чтобы они выдерживали нагрузки в десять раз больше. Он посмотрел вперед, туда, где в двенадцатом ряду сидела его семья. Их не было видно из-за кресел и спинок. Только макушка дочери, кажется, светлое пятнышко. Или ему показалось.

Потом самолет клюнул носом. Резко, как подстреленная птица. Кто-то закричал громче. Мужчина в сером костюме сказал: «Что за черт?». И в этот момент раздался треск.

Треск был такой сильный, что Алексей почувствовал его

животом. Он прошел через всё тело, как электрический разряд. Пол под ногами ушел вниз. Или вверх? Он не понял. Весь мир превратился в центрифугу — небо, земля, облака, солнце, всё мелькало в иллюминаторах с бешеной скоростью. Крики. Запах керосина. И снова треск, уже другой, громче, ближе, и он понял: хвост отламывается.

Он не слышал, он понял это телом. Хвост самолета отделился от основного фюзеляжа, как ящерица отбрасывает хвост, спасая себя. Только здесь хвост не спасал никого, он просто оторвался. Они падали. Те, кто был в хвосте, падали отдельно от основного корпуса. Алексей не потерял сознание. Он видел, как мимо пролетают куски обшивки, кресла, какие-то тряпки. Потом был удар. Мягкий, странно мягкий, как будто самолет упал в перину. Потом скрежет. Потом тишина.

Тишина была абсолютной. Алексей открыл глаза. Он висел на ремнях вниз головой, потому что секция хвоста легла на склон холма. Рядом висел мужчина в сером костюме. Его глаза были открыты, но в них ничего не было. Он был мертв. Пожилая пара сзади лежала грудой тряпья, и из-под тряпья текла темная жидкость. Алексей попытался позвать жену. Из горла вырвался только сип. Он попытался отстегнуть ремень. Пальцы не слушались. Он висел и смотрел на мир, который стал другим.

Он не знал, сколько времени прошло. Час, может, два. Потом он услышал шум вертолетных винтов. И голоса. И тяже-

лые шаги по обшивке. Кто-то закричал: «Здесь выжившие!». Его вытащили. Он был единственным выжившим в хвостовой секции. Как потом выяснилось — единственным выжившим из ста восьмидесяти девяти человек на борту.

Три дня в больнице слились в один. Белые стены, белые люди, белые вопросы. Он лежал на больничной койке, смотрел в потолок и считал трещины. Трещин было пять. Одна большая, четыре маленькие. Он считал их каждые полчаса. Если насчитал пять — значит, он еще здесь. Если сбился — значит, он сейчас проснется, и ничего этого не было, и жена сварит ему кофе, и дочь запрыгнет на колени и потребует включить мультики про фиксиков.

Но он не сбивался. Трещин всегда было пять. На четвертый день пришел следователь. Молодой парень в очках, с усталыми глазами и мятой папкой. Сел на стул рядом с кроватью. Спросил: «Как вы себя чувствуете?». Алексей сказал: «Нормально». Следователь помолчал. Потом сказал: «Вы были на месте 37А?». Алексей кивнул. Следователь спросил: «Почему вы пересели?». Алексей сказал: «Коленка болела». Следователь записал что-то в блокнот. «Вы меняли билет за два часа до вылета. Вы были на месте 12С. Рядом с женой и дочерью. Если бы вы не поменяли билет, вы бы сейчас лежали в другом месте».

Алексей молчал. Следователь смотрел на него. Ждал чего-то. Может быть, слез. Может быть, истерики. У Алексея внутри была пустыня. Выжженная земля, на которой ничего

не росло. Он сказал: «Я знаю». Следователь еще что-то спрашивал — про причины катастрофы, про то, что он видел и слышал. Алексей отвечал коротко, односложно. Он не хотел говорить. Он хотел снова в тишину.

Через неделю его выписали. На пороге больницы его встретили журналисты. Штук двадцать, с камерами, микрофонами, мобильными телефонами. Кричали: «Как вы выжили?», «Что вы чувствуете?», «Почему вы один?». Он прошел сквозь них, как сквозь строй. Кто-то схватил его за рукав. Он вырвался. Сел в такси и уехал.

Он не поехал домой. Дом был там, где жили они. Дом был квартирой на седьмом этаже, с тремя комнатами, с детской, где на стенах были наклеены обои с медвежатами, с кухней, где на холодильнике висели магнитики из разных городов. Казань, Питер, Сочи, Прага. Они собирали магнитики. Жена говорила: «Вот поедem в Париж и привезем Эйфелеву башню». Она мечтала о Париже. Он обещал ей Париж на десятилетие свадьбы. Они не дожили до десятилетия три года.

Он снял однокомнатную квартиру на окраине. Заплатил наличными за три месяца вперед. Хозяйка, пожилая женщина с красными прожилками на носу, спросила: «А вы кто?». Он сказал: «Строитель. В командировке». Хозяйка больше не спрашивала. Ей нужны были деньги. Ему нужна была тишина.

Первое письмо пришло через две недели после катастрофы. Оно было написано от руки, на тетрадном листе в кле-

точку, кривым, дерганым почерком. Конверт без обратного адреса. Внутри — фотография и листок. На фотографии был парень, лет двадцати пяти, в военной форме. Улыбка открытая, рука на плече какой-то девушки. На листке было написано: «Почему ты? Почему не мой Саша? Он служил Родине, а ты кто? Везучий? Скажи, почему ты?». Внизу была подпись: «Мать Саши».

Он прочитал письмо три раза. Потом аккуратно сложил листок, вложил в конверт, закрыл конверт. Положил его на стол. На следующий день пришло еще три письма. Одно гневное — «ты должен был сгореть», одно умоляющее — «расскажите, как они умирали, я хочу знать, мучилась ли моя дочь», одно тихое — «у меня нет сил вас ненавидеть, у меня нет сил жить».

Потом пошли письма с угрозами. Потом — журналисты, которые нашли его новую квартиру. Потом — звонки на мобильный, который он не отключал, потому что боялся пропустить звонок от матери. Хотя знал, что мать не позвонит. Никогда.

Он сменил сим-карту. Съехал с квартиры. Снял комнату в другом конце города, у глухой старухи, которая не спрашивала документов. Но письма нашли его и там. Кто-то узнал адрес, кто-то продал его, кто-то опубликовал в сети. Ему написали триста сорок писем. Сто двадцать были с вопросами. Сто — с проклятиями. Сто двадцать — с просьбами о помощи, как будто он, единственный выживший, стал кем-то

вроде святого, медиума между живыми и мертвыми, кем-то, кто может передать весточку.

Однажды ночью он собрал все письма в черный мусорный пакет, вынес во двор, облил жидкостью для розжига и поджег. Они горели плохо, коптили черным, бумага сворачивалась, буквы исчезали. Столб дыма поднимался к серому небу. Соседи выглядывали из окон. Кто-то крикнул: «Пожар!». Он стоял и смотрел на огонь. Ему хотелось, чтобы огонь горел ярче. Чтобы он сжег всё. Чтобы стало пусто и чисто.

Когда письма сгорели, он понял, что пустота никуда не делась. Она стала еще больше.

Через месяц он уехал в другой город. Маленький город на Волге, название ему ничего не говорило. Он выбрал его, потому что там не было аэропорта и потому что туда не ходили поезда, только автобус. Он хотел жить там, где нельзя улететь. Там, где земля твердая и не падает из-под ног.

В автобусе он придумал себе новое имя. Виктор Сорокин. Виктор — в честь деда, которого он никогда не знал, который погиб на войне. Сорокин — просто фамилия, первая, что пришла в голову. Никаких родственников с фамилией Сорокин у него не было. Он хотел стать никем. Человеком без прошлого. Чистым листом.

Он снял квартиру в хрущевке на окраине. Купил кровать, стол, стул, электрический чайник. Никаких фотографий. Никаких магнитиков. Никаких напоминаний. Он устроился

на стройку разнорабочим. Таскал кирпичи, месил раствор, убирал мусор. Никто не спрашивал его о прошлом. На стройке вообще мало спрашивают. Там ценят руки, а не биографию.

Он работал, приходил домой, варил пельмени, ложился спать. Иногда по вечерам он выходил на берег Волги и смотрел на воду. Вода была темной и холодной. Он представлял, как тело входит в воду, как вода смыкается над головой. Это было искушение. Но он не мог умереть. Он уже один раз выжил. Умереть теперь — значило бы предать это выживание. Он не знал, для чего выжил. Но он был жив, и он должен был нести это. Как мешок с кирпичами на спине. Терпи, пока хватит сил.

Так прошел год. Он отпустил бороду, похудел на пятнадцать килограммов, стал молчаливым и спокойным. На работе его уважали. Бригадир говорил: «Сорокин — золото, а не мужик. Не пьет, не курит, работает как лошадь». Он не пил, потому что боялся пьяных слез. Он не курил, потому что дым напоминал о горелом пластике. Он не разговаривал с женщинами. Он вообще мало с кем разговаривал.

Она появилась в его жизни через год и три месяца после катастрофы. Он таскал кирпичи на пятый этаж новостройки. Она пришла с проверкой из архитектурного надзора. Молодая, светлые волосы, очки в тонкой оправе. У нее была папка с документами и усталый вид. Она спросила: «Где прораб?». Он сказал: «На втором этаже». Она кивнула и пошла, но спо-

ткнулась о кусок арматуры. Он подхватил ее под локоть. Она сказала: «Спасибо». Он сказал: «Пожалуйста». И в этот момент что-то произошло. Что-то маленькое, почти незаметное, как щелчок выключателя. Он посмотрел ей в глаза, и увидел там жизнь. Не ту, которая была у него раньше, а другую, новую, незнакомую. И ему захотелось узнать, какая она.

Ее звали Анна. Ей было тридцать. Она была разведена. Детей не было. Она жила одна, с кошкой и вязальным крючком. Она любила свою работу, ненавидела бюрократию и обожала фильмы Тарантино. Она была смешливая и колючая, как ежик в тумане. Она задавала много вопросов. Он отвечал коротко, обтекаемо. Он сказал, что из Новосибирска, что переехал после развода, что семьи нет. Она поверила. Потому что хотела верить. Потому что он был надежный, спокойный, сильный. Потому что на него можно было опереться.

Они начали встречаться. Сначала редко, потом чаще. Она готовила ему ужин. Он чинил у нее в квартире всё, что могло сломаться. Кран, розетки, дверной косяк. Он умел чинить вещи. Ему нравилось, когда сломанное становилось целым. Это было как маленькая победа над хаосом.

Через полгода она сказала: «Переезжай ко мне». Он сказал: «Я несу в себе что-то тяжелое». Она спросила: «Что?». Он сказал: «Я пока не могу рассказать». Она помолчала. Потом сказала: «Я подожду». И он переехал.

Прошел еще один год, и они поженились. Тихо, в малень-

ком загсе, без гостей и кольца. Только они и регистратор с печальным лицом. Анна надела белое платье и рассмеялась: «Никогда не думала, что выйду замуж в тридцать лет». Он смотрел на нее и думал, что жизнь, оказывается, может продолжаться. Что даже в черной выжженной пустыне может вырасти цветок. Маленький, хрупкий, но цветок. Они жили хорошо. Спокойно. Он работал, она работала. По вечерам смотрели сериалы, спорили о политике, занимались любовью. Он научился улыбаться. Иногда даже смеяться. Прошлое не ушло. Оно сидело в нем, как осколок, который врачи не смогли достать. Болело на погоду. Но он привык к этой боли.

На четвертый год брака родился сын. Маленький, горластый, с глазами-вишенками. Анна сказала: «Назовем его Миша, в честь моего деда». Он кивнул. Миша так Миша. Когда он впервые взял сына на руки, он заплакал. Впервые за четыре года. Слезы текли по его щекам, капали на пеленку. Анна спросила: «Ты что?». Он сказал: «Просто счастье». Но он плакал не от счастья. Он плакал потому, что держал на руках новую жизнь, а старая жизнь стояла перед глазами — как он держал дочь, когда она родилась. Как она пищала, как он боялся ее уронить.

Он посмотрел на сына и сказал про себя: «Прости меня, мышонок». Он не знал, у кого просит прощения и за что. Может быть, у дочери. Может быть, у сына, которого только что обрек на жизнь с человеком, который однажды может ис-

чезнуть. Может быть, у Анны, которая не знала, с кем живет.

Он спрятал прошлое глубоко. На самое дно. Никаких контактов с журналистами. Никаких интервью. Никаких социальных сетей. Он сбрил бороду, когда его фотография перестала мелькать в новостях. Он сменил походку, голос, привычки. Он стал Виктором Сорокиным окончательно.

На седьмой год брака всё рухнуло. В тот день была суббота. Анна собиралась на дачу, к подруге. Она искала старые джинсы и полезла на антресоли, куда они складывали всё ненужное. Коробки, пакеты, старые вещи. Он был на кухне, варил гречку. Сын играл в комнате с машинками.

Он услышал тишину. Она длилась слишком долго. Потом услышал ее голос. «Витя». Он не откликнулся, потому что еще не привык до конца, что Витя — это он. «Витя!». Он пошел в коридор. Она стояла на стремянке и держала в руках коробку из-под обуви. Коробка была старая, пыльная, перевязанная скотчем. Он не помнил, чтобы клал ее туда.

— Что это? — спросила она.

— Не знаю. Поставь на место.

— Ты не знаешь, что лежит на антресолях в твоём доме?

— В нашем доме, — поправил он. — Поставь. Гречка готова.

Но она уже спустилась и открыла коробку. Он понял, что произошло, когда увидел ее лицо. Оно стало белым, как бумага.

— Кто это? — спросила она тихо.

Она держала в руках фотографию. Старый снимок, десять на пятнадцать, в пластиковой рамке. Он, жена, дочь и мать на фоне новогодней елки. Дочь в костюме снежинки. Жена смеется. Он смотрит в камеру и улыбается.

Он молчал.

— Это ты, — сказала она. — Это ты, Витя. Или не Витя?

Она полезла в коробку и достала еще одну фотографию. Потом еще одну. Потом пакет документов. Его паспорт на имя Алексея Романова. Свидетельство о браке. Свидетельство о рождении дочери.

— Господи, — сказала она. — Господи, Витя. Ты — тот самый. Выживший. Единственный. Я помню эту катастрофу. Я читала про нее.

Она посмотрела на него. В ее глазах был ужас. Не злость, не ненависть — ужас. Ужас человека, который понял, что прожил семь лет с незнакомцем.

— Скажи мне правду, — сказала она. — Я хочу знать, кто ты.

Он стоял и смотрел на нее. Гречка на плите кипела и булькала. Сын в комнате гудел, как машина. Время остановилось. Он понял, что прошлое его догнало. Как он и знал, что догонит рано или поздно. Просто надеялся, что поздно. Что он успеет еще немного прожить эту новую жизнь. Что он успеет хотя бы вырастить сына.

— Меня зовут Алексей Романов, — сказал он. — Я выжил в катастрофе рейса 271. Все сто восемьдесят восемь человек

погибли. Моя жена, моя дочь, моя мать были в том самолете. Я уцелел, потому что за два часа до вылета поменял место.

Он говорил это ровно, спокойно, как заученный текст. Потому что он повторял его про себя сто тысяч раз. Каждый день. Каждую ночь. Он знал, что однажды ему придется это сказать.

Анна медленно сползла по стене. Она села на пол, прижав колени к груди, и смотрела на него, на фотографию, на документы.

— Семь лет, — сказала она. — Семь лет я живу с человеком, которого не знаю. У меня от тебя ребенок. У нас сын. А ты — тот самый выживший.

Она замолчала. Потом спросила:

— Ты их еще любишь?

Он не знал, как ответить. Он любил их. Он будет любить их всегда. Но он любил и ее. И сына. Это была разная любовь. Одна — вечная, другая — живая. Одна — прошлое, другая — настоящее. Но как сказать это словами? Как объяснить, что сердце может вместить обе?

— Я люблю тебя, — сказал он. — Но их я тоже не забыл. Я никогда их не забуду. Это невозможно.

Она встала. Вытерла слезы, которых он даже не заметил.

— Расскажи мне, — потребовала она. — Расскажи мне всё. Как это было. Что ты чувствовал. Почему ты выжил. Почему ты скрылся. Почему ты выбрал меня.

В ее голосе звенели слезы, но в нем была и сталь. Он знал

этот тон. Она всегда добивалась правды на работе, и если не получала правды, шла до конца. Она была архитектором и надзирателем. Она привыкла, что здания стоят прямо и не врут.

— Я расскажу, — сказал он. — Но не при сыне.

Она кивнула. Она ушла к сыну, закрыла дверь в детскую. Он выключил гречку, вытер стол, сел на табурет и стал ждать. Он смотрел в стену и думал о том, что сегодня вечером он расскажет своей жене правду. Всю правду. И эта правда либо освободит его, либо убьет.

Ему было всё равно. Он уже много лет жил в чистилище. Настоящего ада или рая для него не существовало. Только это — серое пространство между жизнью и смертью, где он отвечал за то, в чем не был виноват, и не мог ответить за то, в чем винил себя каждую секунду.

За дверью сын смеялся и катал машинку. Анна сидела на диване и смотрела в одну точку. Он сидел на кухне и смотрел в стену. Трещин в стене не было. Но ему казалось, что сейчас появятся. Он насчитал пять.

Исповедь

Они сидели на кухне. Сын спал в детской, уткнувшись носом в подушку, раскинув руки крестом, как всегда спал. Анна зажгла настольную лампу, и свет резал кухню пополам — желтый, резкий, больничный. Она села на табурет напротив него. Он сел у окна. За окном шел дождь, мелкий сентябрьский дождь, который заряжает на три дня и не перестает. Дворники на стекле соседней машины дергались, как нервные пальцы.

Анна сложила руки на столе. Он заметил, что у нее дрожат пальцы. Раньше у нее никогда не дрожали пальцы. Она была архитектором надзора — приезжала на стройки, где мужики матерились и бросали окурки в раствор, и говорила: «Переделать», и они переделывали. У нее был голос, который не терпел возражений. Сейчас ее руки дрожали.

Он сказал:

— Я расскажу.

Она кивнула.

Он рассказал. С самого начала. Не так, как рассказывают исповедь священнику, и не так, как дают показания следователю. Так, как вынимают занозу. Медленно, с болью, чувствуя, как каждый кусочек выходит из тела.

Он рассказал про мать, которая боялась летать. У матери всегда с собой была иконка Николая Угодника, завернутая

в белый платочек. Она говорила: «Николай Угодник спасает путешественников. Я, Леша, без него никуда». Иконка лежала в сумочке, которую она не выпускала из рук до конца полета. Когда нашли обломки, сумочки не нашли. Иконка сгорела. Или упала в лес, где ее склевали птицы. Или лежит сейчас где-нибудь под мхом, в болоте, и никто не знает, кому она принадлежала.

Мать работала бухгалтером в школе. Сорок лет в школе. Она считала копейки школьного бюджета, ругалась с завхозом, вязала носки на собраниях. У нее были натруженные руки и тихий голос. Она никогда никого не осуждала, даже отца, который ушел, когда Алексею было двенадцать. Она сказала тогда: «Папа уехал в командировку. Может быть, надолго». И он поверил. Только потом понял, что командировка — это навсегда.

Он рассказал про жену. Ее звали Марина. Они познакомились в институте, на втором курсе. Она уронила чертеж, он поднял. Она сказала: «Спасибо, у тебя руки добрые». Он не знал, что руки могут быть добрыми, но запомнил. Они поженились на четвертом курсе, без денег, без квартиры, без ничего. Сняли комнату в коммуналке, где сосед-алкоголик пел по ночам про лагерь. Марина смеялась: «Ничего, Леша. Зато у нас есть мы». У нее всегда было это — способность видеть светлое в темном. Когда она входила в комнату, казалось, что лампочки горят ярче.

Он рассказал про дочь. Даша. Пять лет. Темные кудряшки

и глаза-пуговики. Она называла его «папуля». Она рисовала на обоях и пряталась в шкафу. У нее было любимое платье с единорогом, которое она отказывалась снимать. И еще она боялась грозы. Когда гремел гром, она залезла к ним в кровать и шептала: «Я с вами, мне не страшно». Последний раз она залезла к ним в ночь перед вылетом. Была гроза.

Он рассказывал и не плакал. Он разучился плакать нормально — слезами, всхлипами, дрожанием плеч. Его слезы высохли тогда, в больнице, в первую ночь, когда он понял, что их больше нет. Сейчас он просто говорил, и голос у него был сухой и ровный, как у диктора в метро.

Анна слушала. Она не перебивала. Только иногда проводила пальцем по столу, как будто чертила невидимую линию.

Потом он рассказал про рейс 271. Про то, как зашел в личный кабинет. Про то, как нажал кнопку. Кнопка была синяя, с белой надписью «сменить место». Если бы он не нажал, если бы интернет завис, если бы он задумался на секунду — он бы не нажал. Он бы сейчас не сидел на этой кухне. Он был бы там, с ними. Или нет — его бы нашли в секции крыла, опознанного по ДНК, потому что от тел мало что осталось.

— Я сидел в хвосте, — сказал он. — Когда началась тряска, я схватился за подлокотники. Я подумал: «Сейчас пройдет». Потом самолет клюнул носом, и я понял, что не пройдет. Я не кричал. Я не молился. Я думал о них. Я пытался увидеть их, но кресла были высокие.

Он замолчал. За окном дождь усилился, и дворники на

соседней машине замерли — аккумулятор сел.

— Когда хвост оторвался, я почувствовал облегчение. Понимаешь? На секунду. Меньше, чем на секунду. Я подумал: «Я живой». Я не подумал: «А они?». Я подумал о себе.

Он замолчал. Это признание было самым страшным. Не смена места, не выживание — а та секунда, когда он радовался, что жив, и еще не думал о мертвых.

— А потом? — спросила Анна.

— А потом я понял. И с тех пор я не перестаю понимать. Каждую минуту.

Анна встала, подошла к окну, посмотрела на дождь. Потом спросила, не оборачиваясь:

— Ты любил Марину?

Он знал, что этот вопрос будет. Он ждал его с того момента, как Анна открыла коробку.

— Да.

— Сильно?

— Да.

— А меня?

— Да.

— Но по-разному?

— Да.

Она обернулась. Лицо у нее было жесткое, как на стройке, когда она находила брак в несущей стене.

— Объясни.

Он попытался объяснить. Он рассказал ей про то, что лю-

бовь — это не пирог, который делят на куски. Что любовь к Марине — это любовь-память, любовь-долг, любовь-рана. Что любовь к ней, к Анне — это любовь-жизнь, любовь-воздух, любовь-сегодня. Что обе — настоящие. Что обе — его. Что он не может выбрать одну, потому что одна умерла, а другая жива, и сравнивать их нельзя, как нельзя сравнивать день и ночь.

— Ты был с ней счастлив? — спросила она.

— Да.

— А со мной?

— Я думал, что да. Но теперь я не знаю, что ты об этом думаешь.

Она села обратно на табурет. Помолчала. Потом сказала:

— Я не знаю, что думать. Ты мне врал семь лет.

— Я не врал. Я не рассказывал.

— Это одно и то же.

— Нет. Не одно. Вранье — это когда ты выдумываешь. А я просто молчал. Я не выдумывал другую жизнь. Я просто не говорил про эту.

— Это как не сказать, что у тебя рак, — сказала она резко.

— Ты носишь в себе болезнь, и я живу с тобой и не знаю. А потом ты умираешь, и я узнаю, что тебя убивало все эти годы. Это предательство, Алексей. Или Витя? Как мне тебя теперь называть?

— Называй как хочешь.

— Я хочу называть тебя тем именем, с которым ты родил-

ся. Алексей.

— Хорошо.

Она встала и пошла в комнату. Он остался сидеть на кухне. Дождь продолжал стучать по жестяному подоконнику. Сын во сне перевернулся на другой бок, скрипнула кровать.

Она вернулась через пять минут. В руках у нее был ноутбук. Она открыла его и стала читать. Он понял, что она читает статьи о катастрофе. Их были сотни. Схемы, фотографии, интервью с экспертами, списки погибших, реконструкции последних секунд. Она читала молча, вглядываясь в экран. Иногда увеличивала картинку. Иногда закрывала глаза.

— Здесь написано, что выжил один, — сказала она. — Ты. Единственный.

— Да.

— Здесь написано, что хвост оторвался при падении и спланировал на холм. Что это — чудо. Что ты — чудом спасшийся.

— Чудо, — повторил он. — Да, так писали.

— Чудо, — сказала она горько. — А те, кто не спасся, они что? Не заслужили чуда? Мой муж — чудо. Отец моего сына — чудо. А сто восемьдесят восемь человек, включая твою жену и твою дочь, — они что? Просто не вписались в чудо?

Он молчал. Ему нечего было ответить. Он сам задавал себе эти вопросы каждый день.

— Ты веришь в Бога? — спросила она неожиданно.

— Не знаю.

— А раньше?

— Раньше верил. Мать говорила, что Бог есть. Она крестила меня перед каждым рейсом. Я думал, это помогает.

— А теперь?

— Теперь не знаю. Если Бог есть, почему он выбрал меня? Что я такого сделал? У меня коленка болела. Вот моя заслуга. Больная коленка.

Анна закрыла ноутбук. Отодвинула его в сторону.

— Почему ты не рассказывал мне? Я же твоя жена. Я семь лет с тобой сплю, ем, рожаю детей. Почему?

— Я боялся.

— Чего?

— Что ты уйдешь. Что ты согласишься на меня так, как сейчас смотришь. Как на чужого. Как на того, кто должен был умереть, но не умер.

— Я не знаю, как я смотрю. Я еще не решила.

— Я боялся, что ты не сможешь это вынести. Что мое прошлое раздавит нашу жизнь.

— Значит, ты мне не доверял.

— Я тебе доверял. Я себе не доверял.

Она встала, прошлась по кухне. Три шага от плиты до холодильника, три обратно. Он смотрел на нее и видел, как в ней борются два человека. Один хотел обнять его, сказать: «Ты живой, и это главное». Другой хотел ударить его по лицу и крикнуть: «Ты семью бросил в хвосте, а сам выжил». Он понимал обоих. Он сам был этими обоими.

Она остановилась.

— Ты сменил имя. Алексей Романов умер. А Виктор Со-рокин родился. Ты убил того, кем был.

— Да.

— И ты думал, что новое имя спасет тебя от прошлого?

— Я думал, что смогу начать сначала. С чистого листа. Как будто ничего не было.

— Но оно было.

— Да. Оно было. И оно всегда будет.

Она села обратно. Взяла его за руку. Рука у нее была хо-лодная, как у человека, который долго стоял под дождем.

— Расскажи мне про Дашу, — попросила она. — Про дочь.

Он не хотел. Разговор про жену был трудным. Разговор про дочь был невозможным. Но он понимал, что она имеет право. Она мать его сына. Она хочет знать.

Ей было пять. Только исполнилось, за месяц до вылета. Она хотела стать балериной. Он водил ее в секцию хореографии, она вставала к станку и тянула носочек так старатель-но, что язык высовывался наружу. У нее было родимое пят-но на левой лопатке, в форме полумесяца. Марина говорила: «Это ее ангельская печать». Даша говорила: «Я не ангел, я снежинка».

В тот день, когда они летели, она была в костюме снежин-ки, потому что в Москве их встречала бабушка по Марини-ной линии, и они должны были идти на новогодний утрен-

ник в Дом культуры. Даша репетировала танец снежинок два месяца. У нее были белые чешки и белая юбочка из фатина. Она надела костюм прямо дома, еще до вылета, и не снимала. В самолете она сидела у иллюминатора и смотрела на облака.

— Папа, а снежинки живут на облаках?

— Нет, мышонок. Они живут в облаках. А когда идет снег, они спускаются к нам.

— А когда лето?

— Летом они спят.

— А я — снежинка. Я зимой к тебе приду, а летом уйду спать.

Он запомнил этот разговор. Он вертелся у него в голове все эти годы. Снежинка, которая ушла спать летом. Но она ушла не летом. Она ушла в сентябре. Сентябрь был теплый, без снега. Снежинка не должна уходить в сентябре.

Анна заплакала. Молча, без всхлипов, просто слезы текли по щекам и капали на стол. Он не утешал ее. Он знал, что утешать сейчас нельзя. Она имеет право на свои слезы. Так же как родственники погибших имеют право на свою ненависть. Так же как он имеет право на свою вину.

Она вытерла слезы ладонью.

— Я не знаю, смогу ли я с этим жить. Я выходила замуж за одного человека, а оказалось — за другого.

— Я тот же человек. Тот же.

— Нет. Тот же — это тот, кого я знаю. А я тебя не знаю. Ты другой. Ты — человек, который потерял всё. Который

смотрел в лицо смерти. Я не могу представить, что ты чувствуешь.

— Я тоже не могу представить, что ты сейчас чувствуешь,
— сказал он.

Она встала.

— Я пойду к сыну.

Она ушла в детскую и закрыла дверь. Он остался на кухне один.

Он просидел на кухне до рассвета. Дождь кончился в три часа ночи. В четыре начало светать, и он увидел, как просыпается город: сначала зажглись окна в доме напротив, потом заурчала машина-мусоровоз, потом закричали первые птицы. Он смотрел на это пробуждение и думал о том, что мир продолжается. Что небо не упало. Что земля не разверзлась. Что всё идет своим чередом, и только внутри у него — всё та же выжженная земля, на которой ничего не растет.

Он думал о том, что рассказал ей не всё. Было еще письмо. То самое, которое пришло через месяц после катастрофы и которое он не сжег.

Письмо было от матери. Не от его матери — от матери другого пассажира, девочки, которая сидела в двенадцатом ряду, через проход от его семьи. Он не знал эту девочку. Он не знал, как ее зовут. Но мать девочки написала ему письмо.

«Здравствуйте, Алексей. Я мама Леночки. Ей было семь. Вы, наверное, видели ее в самолете. Она сидела через проход от Вашей семьи, так мне сказали. Она была в красном свите-

ре, с белым медведем в руках. Медведя звали Умка. Леночка не расставалась с ним никогда. Я не знаю, зачем пишу. Я не знаю, почему Вы выжили, а она нет. Я не виню Вас. Но я хочу знать, видели ли Вы ее перед падением? Она плакала? Ей было страшно? Вы что-нибудь помните? Я знаю, что Вы тоже потеряли семью. Простите меня. Но я не сплю. Я не могу спать. Мне нужно знать. Ответьте. Ольга».

Он не ответил. Не потому что не хотел. А потому что не знал, что ответить. Он не помнил девочку в красном свитере. Он проверял свою память, перебирал ее, как перебирают старую фотопленку, но девочки в красном свитере не было. Может быть, она сидела на два ряда дальше. Может быть, она была закрыта спинкой кресла. Может быть, он видел ее, но не запомнил. Память — хитрая штука. Она прячет то, что невыносимо помнить.

Он не ответил. Письмо лежало в коробке, которую нашла Анна. Вместе с сотней других писем. Он не сжег его, потому что не смог. Потому что это письмо было живое. Оно задавало вопрос, на который не было ответа, но который нужно было хранить. Как иконку матери. Как платье с единорогом. Как чешки для снежинки.

В шесть утра он услышал, как открылась дверь детской. Анна вышла, тихо притворила ее за собой. Она прошла на кухню, села напротив.

— Я не ухожу, — сказала она.

Он кивнул. Он не мог говорить.

— Но я не знаю, как мы будем жить дальше. Мне нужно время. Мне нужно понять, кто ты такой. Мне нужно привыкнуть.

Он снова кивнул.

— Я хочу еще кое-что спросить, — сказала она. — Ты рассказывал про письма. От родственников. Их было много. Ты на все ответил?

— Нет.

— Почему?

— Я не знал, что ответить. Они спрашивали то, чего я не знал. Или обвиняли в том, что я не мог изменить.

— Ты до сих пор их хранишь?

— Часть сжег. Часть здесь. В коробке.

— Я хочу их прочитать.

— Зачем?

— Чтобы понять. Чтобы понять тебя. Чтобы понять их. Чтобы понять, почему это вообще случилось.

— Этого никто не понимает. Следователи, эксперты, психологи. Никто.

— И всё равно. Я хочу прочитать.

Он пошел в коридор, поднял коробку, принес на кухню. Открыл ее. Письма лежали стопками, перевязанные аптечными резинками. Он выкладывал их на стол, по одному, как выкладывают карты в пасьянсе.

— Это от отца, который потерял сына. Он обвиняет меня в том, что я жив. Это от сестры, которая просит рассказать,

мучился ли ее брат. Это от мужа, у которого погибла беременная жена. Это от сына, у которого погибла мать. Это от внука, у которого погиб дед.

Он выкладывал. Писем было сорок три. Меньше, чем он думал. Остальные — те, триста, — сгорели в мусорном баке и превратились в пепел, который ветер разнес по двору. Но эти сорок три остались. Он перечитывал их иногда, по ночам, когда Анна не слышала. Он доставал письмо, вскрывал — они были уже вскрыты, — читал, складывал обратно. Это была его епитимья. Его наказание, которое он сам себе назначил.

Анна брала письма одно за другим, читала, откладывала. Лицо ее менялось. Сначала было жестким. Потом — растерянным. Потом — испуганным. Потом — просто усталым.

— Они все спрашивают, — сказала она. — Но никто не получает ответа.

— Да.

— Это ужасно.

— Да.

— Ты мог бы им ответить. Хотя бы некоторым.

— Что бы я им ответил? Что я не видел? Что я не помню? Что я сидел в хвосте и выжил случайно? Что Бог выбрал меня за больную коленку?

— Нет. Ты мог бы сказать: «Я жив, и мне жаль».

— Это ничего не изменит.

— Может быть. А может быть, изменит. Мы не знаем, что

меняет слова, а что нет.

Он замолчал. Он знал, что она права, но не хотел признать этого. Потому что признать — значило бы ответить. Ответить — значило бы вернуться. А он семь лет убежал.

— Я прочитаю их все, — сказала Анна. — А потом ты примешь решение.

— Какое?

— Будешь ли ты отвечать. Или будешь ли ты жить дальше так, как жил. Или по-другому.

Она встала, взяла чайник, налила воду, поставила на плиту. Впервые за эту ночь она делала что-то обычное, бытовое, живое. Чайник зашумел. Сын заворочался в кровати.

Он смотрел на нее и думал, что она сильнее, чем он думал. Она не сломалась. Она не ушла. Она не ударила в ответ. Она села и стала разбирать завалы. Как на стройке. Сначала убрать мусор, потом посмотреть, что осталось от фундамента.

В семь утра проснулся сын. Он прибежал на кухню в пижаме с машинками, потер глаза, сказал:

— Пап, мам, а вы чего не спите?

— Мы уже проснулись, — сказала Анна, и голос у нее был обычный, утренний, теплый. — Садись, кашу буду варить.

Сын сел на колени к отцу. Он еще не знал, что его отец — другой человек. Что у него другое имя. Что у него была другая семья. Что он выжил в катастрофе, о которой когда-нибудь расскажут в школе. Он просто сидел и тыкал пальцем

в отцовскую щетину.

— Колючий, — сказал он. — Пап, ты колючий.

— Да, — сказал он. — Надо побриться.

— Не надо, — сказал сын. — Мне нравится.

Он прижался к отцу и закрыл глаза. Ему было тепло и безопасно. Он не знал, что безопасность — это тонкая пленка, которая может порваться в любую секунду. Но он был ребенком и имел право этого не знать.

Анна стояла у плиты и смотрела на них. По ее щекам снова текли слезы, но она не вытирала их, чтобы сын не заметил. Она думала о том, что любит этого человека. Что он — отец ее ребенка. Что он пережил ад. Что он пытался начать сначала. Что у него не получилось, потому что ад всегда с собой. И еще она думала, что ни одна любовь не бывает простой. Что любовь — это не только улыбки и завтраки по воскресеньям. Любовь — это еще и сорок три письма в коробке из-под обуви. Это еще и чужая боль, которую ты должен нести вместе с ним.

Она помешала кашу и сказала:

— Сегодня суббота. Давайте поедем в парк.

Сын закричал: «Ура!». Алексей посмотрел на нее и увидел, что она приняла решение. Она будет жить с этим. Пока не знает как, но будет. Она архитектор. Она привыкла строить то, что разрушено.

Они поехали в парк. Сын катался на карусели. Они сидели на скамейке и смотрели, как он машет им рукой на каждом

круге. День был серый, но без дождя. Деревья стояли желтые и красные, сентябрь догорал.

Она держала его за руку. Он чувствовал ее пальцы и думал, что жизнь иногда дает второй шанс. Не всем. Ему дала.

Вечером, когда сын уснул, он сел за стол и взял первое письмо. То самое, от матери Леночки. Он прочитал его еще раз. Потом взял ручку, лист бумаги и начал писать.

«Здравствуйте, Ольга. Меня зовут Алексей Романов. Я был на рейсе 271. Я не помню Вашу дочь. Я пытался вспомнить, но не смог. Простите меня за это...»

Он остановился. Слова были неправильные. Никакие слова не могли быть правильными. Он скомкал лист, бросил в ведро. Взял новый.

«Ольга, я не помню, плакала ли она. Я ничего не помню. Я помню только тряску, и хвост, и тишину. Я не могу Вам ответить. Простите».

Он снова скомкал лист. Анна сидела рядом, читала книгу, не вмешивалась.

Он взял третий лист.

«Ольга, здравствуйте. Я жив. Мне жаль».

Он положил ручку. И одновременно ничтожно мало. Но больше у него ничего не было. Только эти три слова, которые он повторял про себя все семь лет, но никому не говорил вслух.

Он положил письмо в конверт, надписал адрес, отложил. Потом взял следующее письмо. И следующее. За ночь он на-

писал сорок три письма. В каждом было три слова: «Я жив. Мне жаль».

Он не знал, поможет ли это им. Он не знал, поможет ли это ему. Но это было единственное, что он мог сделать. Его прошлое нельзя было исправить. Но можно было перестать от него бегать.

Утром он отнес письма на почту. Когда он бросал их в ящик, руки у него тряслись. Но он бросил все. Одно за другим. Сорок три конверта.

На обратном пути он зашел в аптеку, купил бритвенные лезвия. Дома он встал перед зеркалом и сбрил бороду. Из зеркала на него смотрел Алексей Романов. Постаревший, седой, с глубокими морщинами у глаз. Но Алексей.

Анна вошла, увидела его, остановилась.

— Вот теперь я тебя узнаю, — сказала она.

Он обнял ее. Они стояли в ванной и молчали. Сын в комнате играл в машинки и гудел. Мир за окном продолжался.

В тот вечер они легли спать вместе. Она не отодвинулась к стене, как он боялся. Она лежала рядом, положив голову ему на плечо.

— Я еще не всё приняла, — сказала она в темноте. — Но я буду стараться.

— Я знаю, — сказал он. — Спасибо.

Они уснули. Ему приснилась Даша в костюме снежинки. Она стояла на сцене, танцевала и смотрела на него. Он сидел в первом ряду. Она улыбалась. Снег падал с потолка, легкий,

как пух. «Папа, — сказала она, — смотри, я танцую». Он смотрел. И впервые за семь лет он улыбался во сне.

Трещины

Письма ушли. Он думал, что станет легче. Не стало. Он думал, что станет хуже. Не стало. Осталось то же самое — ровный гул в груди, как трансформаторная будка за окном, которая гудит день и ночь, и ты привыкаешь, но гул никуда не девается. Сорок три конверта упали на дно почтового ящика с глухим стуком. Он стоял и смотрел на синий металлический зев, и думал, что, наверное, вот так же его жизнь семь лет назад упала на дно какого-то другого ящика, из которого нет выемки.

Первые ответы пришли через неделю. Он не ждал ответов. Он послал письма, потому что Анна сказала — надо. Потому что слова «я жив, мне жаль» были единственным, что он мог дать. Он не просил прощения, не ждал понимания, не надеялся на диалог. Но ответы пришли.

Их было три. Первое — короткое, на открытке с видом ночной Москвы. «Спасибо». Без подписи, без обратного адреса. Просто спасибо, выведенное шариковой ручкой, с нажимом, так что буквы продавили картон. Он держал открытку в руках и думал о том, сколько боли стоит за этим словом. Может быть, его писала мать. Может быть, вдова. Может быть, сын. Спасибо за что? За то, что он жив? За то, что ему жаль? За то, что он ответил спустя семь лет?

Второе письмо было длинным. Его написала женщина, ко-

торая потеряла отца. Она писала, что семь лет не могла зайти в самолет, что у нее начались панические атаки, что она развелась с мужем, потому что он не понимал, «почему ты до сих пор по нему плачешь». Она писала, что, когда получила его письмо, плакала весь вечер. «Не от горя. От облегчения. Потому что кто-то еще помнит. Потому что кто-то еще жив и носит это в себе. Я думала, что я одна. Что всем плевать. Что мой папа — это просто строчка в списке. А вы написали, и я поняла: нет, не строчка. Спасибо вам за эти слова. Вы не должны были их писать, но вы написали. Это много для меня значит».

Он прочитал письмо дважды. Анна прочитала его следом. Она сказала: «Видишь? Твои слова не пустые. Они дошли». Он кивнул, но внутри у него что-то сжалось. Потому что третье письмо лежало на столе нераспечатанным, и он уже знал, что в нем.

Третье письмо было от матери Леночки. Той самой девочки в красном свитере, с белым медведем по имени Умка. Ольга. Конверт был толстый, желтый, старый — такие конверты лежат в канцелярских магазинах годами и продаются поштучно. Он вскрыл его.

В конверте была фотография и письмо. Фотография — та самая девочка, с белым бантом в волосах, с улыбкой, в которой не хватало двух передних зубов. Она держала медведя, прижимала его к груди обеими руками, и медведь был больше нее наполовину. Письмо было написано неровным, пры-

гающим почерком, как будто рука дрожала.

«Вы ответили. Я не ждала. Я думала, вы снова исчезнете, как исчезли тогда. Семь лет — это много. Леночке было бы четырнадцать. Она была бы в восьмом классе, носила бы джинсы с дырками и красила ногти черным лаком, как все подростки. Я представляю ее взрослой. Я представляю ее каждый день. Это все, что у меня осталось — представлять.

Вы пишете: я жив, мне жаль. Я не знаю, что с этим делать. Моя дочь мертва. Вы живы. Ваше жаль не воскресит ее. Ваше жаль не вернет мне семь лет без сна. Знаете, что самое страшное? Я не могу вас ненавидеть по-настоящему. Я пыталась. Я семь лет пыталась. Я смотрела на ваши фотографии в новостях и говорила себе: Вот он, живой, здоровый, а Леночки нет. Но злость выгорела. Осталась только пустота. Вы пишете, что вам жаль. Мне тоже жаль. Мне жаль, что мы вообще встретились — через эту катастрофу, через мою дочь, через ваше выживание. Но раз вы написали, я хочу спросить еще раз. Семь лет назад я спросила — вы не ответили. Теперь ответьте. Вы видели ее? Вы слышали, как она кричала? Она звала меня?»

Он отложил письмо. Руки у него были ледяные. Анна молча смотрела на него. Он сказал:

— Она спрашивает то, чего я не знаю.

— Ты не обязан отвечать на все вопросы, — сказала Анна.

— Она ждала семь лет.

— Ты тоже ждал семь лет. Вы оба были в этом аду, только

по разные стороны.

Он взял ручку, лист бумаги, начал писать ответ. «Ольга, я не помню Вашу дочь. Я не помню, кричала ли она. Я не помню ничего, кроме тишины после падения. Я хотел бы помнить. Я хотел бы сказать Вам, что она не мучилась. Но я не знаю. Простите меня за это тоже».

Он отправил письмо в тот же день. Вечером он сидел на кухне и смотрел в стену. Анна укладывала сына. Из детской доносился ее ровный голос — она читала сказку про крокодила Гену и Чебурашку. Он думал о том, что матери Леночки он не ответил на главный вопрос. Потому что на главный вопрос ответа не было. Почему он выжил? Почему не ее дочь? Почему вообще люди умирают в сентябре, когда листья желтые и небо высокое?

Ночью он проснулся в три часа. Старая привычка — просыпаться в три, когда темнота самая густая и мысли самые ядовитые. Раньше он вставал, шел на кухню, сидел до рассвета. Теперь он просто лежал и смотрел в потолок. Анна спала рядом, дышала ровно. Он думал о том, что она приняла его прошлое, но приняла ли? Или просто решила, что сломаться сейчас — значит проиграть? Она была сильной. Иногда сила — это просто неумение сдаваться. Он не знал, хорошо это или плохо.

Он думал о Марине. Раньше он не позволял себе думать о ней подолгу — только короткими, болезненными уколами. Но теперь Анна знала. Теперь не нужно было прятаться. И

воспоминания хлынули, как вода из прорванной трубы.

Он вспомнил, как они покупали квартиру. Двушка на окраине Новосибирска, в панельной девятиэтажке, с видом на пустырь. Марина сказала: «Ничего, Леша. Главное — что наша». Они делали ремонт сами — он клеил обои, она красила потолок. Перемазались краской, занимались любовью прямо на газетах, которыми застелили пол. Потом лежали и смотрели в свежепобеленный потолок. «Вот здесь будет детская», — сказала Марина. «А здесь — гостиная». «А здесь — кухня, и я буду печь пироги». Она пекла ужасные пироги, они подгорали снизу и были сырыми внутри, но он ел и хвалил. Потому что она старалась. Потому что это была ее любовь — подгоревший пирог с яблоками.

Он вспомнил, как родилась Даша. Роды были тяжелые, восемь часов. Он сидел под дверью родильного зала и считал плитки на полу. Четыреста двадцать три плитки. Когда медсестра вышла и сказала: «Девочка, четыре килограмма, здоровая», — он заплакал. Первый раз в жизни заплакал от счастья. Потом ему дали сверток, и из свертка смотрели два глаза-пуговицы, и он понял, что его жизнь больше ему не принадлежит. Он кому-то нужен. Навсегда.

Даша была трудным ребенком. Колики по ночам, режущиеся зубы, первая температура с судорогами, когда он вез ее в больницу через весь город, и светофоры горели красным, как будто нарочно. Марина не спала вместе с ним, они менялись по четыре часа, ходили как зомби, ссорились по пустякам,

мирились через пять минут. Они были семьей. Настоящей, живой, потрепанной, с дырками на коленках, но семьей.

Он думал о том, что Анна никогда не узнает Марину. Что эти две женщины существуют в его сердце отдельно, не пересекаясь. Что он любит обеих, но по-разному, и это не обман, это правда. Но как объяснить правду, если она сложнее, чем «да» или «нет»?

Утром Анна сказала:

— Я хочу поехать туда.

Он не сразу понял.

— Куда?

— На место катастрофы. Там теперь мемориал. Я читала в интернете. Стела с именами. Сто восемьдесят восемь фамилий.

Он замер. Он никогда не ездил туда. Ни разу за семь лет. Он знал, что мемориал есть. Он знал, что там проходят траурные церемонии каждый год, в сентябре. Он не ездил. Потому что боялся. Потому что не хотел видеть фамилии на камне. Потому что это значило бы — окончательно признать, что они мертвы.

— Зачем? — спросил он.

— Потому что ты не был там ни разу. Потому что это часть тебя. Я хочу увидеть эту часть.

— Это тяжело.

— Я знаю. Но я хочу. Я хочу понять до конца.

— Ты не обязана.

— Обязана. Я твоя жена. Я должна знать, с чем ты живешь. Он долго молчал. Потом сказал:

— Хорошо. Поедем.

Они поехали в субботу. Сына оставили у соседки, пенсионерки Нины Петровны, которая любила мальчика и поила его чаем с баранками. Анна села за руль. Он не водил после катастрофы — боялся скорости, боялся резких движений, боялся, что мир снова перевернется. Анна вела спокойно, не лихачила, и он смотрел на дорогу, на леса, на поля, на серое сентябрьское небо.

Мемориал находился в трехстах километрах от города. На месте падения основного корпуса самолета. Там, где был лес, осталась проплешина — земля, выжженная керосином, долго не зарастала. Потом посадили деревья заново. Построили стену с именами. Поставили скамейки. Сделали дорожку из белого гравия.

Они приехали в полдень. Машина встала на пустой парковке — только один старый «Форд» стоял в углу, припорошенный пылью. Солнце спряталось за облаками, стало холодно. Они вышли. Анна взяла его за руку.

Мемориал был простым. Длинная стена из серого камня, на ней — фамилии, вырезанные лазером, ровные, безликие. Романов М.А. — это мать, Марина и Алексей — они все были Романовы. Рядом — Романова Д.А. Даша. Пять букв. Вся жизнь — пять букв на сером камне.

Он стоял и смотрел. Он думал, что заплачет. Не заплакал.

Слезы высохли, как и тогда. Только сухость в горле и тяжесть в груди, которая была всегда.

Анна читала имена. Их было много — Ивановы, Петровы, Сидоровы, Кузнецовы. Целые семьи. Дети, которым было по три, по пять, по семь лет. Старики, которые летели к внукам. Студенты, которые возвращались с каникул. Командировочные в серых костюмах. Бортпроводницы с накрашенными губами.

— Их сто восемьдесят восемь, — прошептала Анна.

— Да.

— А ты — сто восемьдесят девятый.

— Я сто восемьдесят девятый, — повторил он. Она отпустила его руку и пошла вдоль стены. Он остался стоять. И в этот момент услышал шаги по гравию.

Он обернулся. По дорожке шла женщина. Лет пятидесяти, в черном пальто, с седыми волосами, стянутыми в тугий пучок. Она шла прямо, не глядя по сторонам, как человек, который знает дорогу наизусть. В одной руке она держала цветы — белые гвоздики. В другой — небольшой камень.

Он узнал ее. Не лицо — лицо он видел впервые. Он узнал походку, напряженную, ломкую, как у птицы со сломанным крылом. Он узнал взгляд — направленный внутрь, туда, где горит незатухающий огонь. Это была мать. Какая-то мать. Может быть, мать того солдата Саши. Может быть, мать студентки из двенадцатого ряда. Может быть, мать Леночки.

Женщина подошла к стене, положила гвоздики в нишу,

постояла, прижав ладонь к камню. Потом обернулась и увидела его.

Мир замер. Он увидел, как расширились ее зрачки. Как побелели костяшки пальцев, сжимающих камень. Как дрогнули губы, беззвучно произнося какое-то имя. Она узнала его. Несмотря на сбритую бороду, несмотря на семь лет. Она узнала его так же, как он узнал ее — по чему-то, что невозможно скрыть. По печати, которая стоит на всех, кто был там.

— Ты, — сказала она. Голос был хриплый, низкий. — Ты пришел.

Он молчал. Анна обернулась, увидела женщину, шагнула было к нему.

— Семь лет, — сказала женщина. — Семь лет ты прятался. А теперь пришел. Зачем? Цветочки положить? Память почтить?

Она пошла к нему. Медленно, шаг за шагом, сжимая камень. Камень был небольшой, серый, с острыми краями — такие лежат на обочинах дорог.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.